

Герман Шелков

1946

4

7

4

8

49

Или
как трудно жилось
в 1940-е годы

Герман Шелков

**1946, 47, 48, 49 или Как
трудно жилось в 1940-е годы**

«Телеграф»

2017

УДК 821.161.1-32 Шелков
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шелков Г.

1946, 47, 48, 49 или Как трудно жилось в 1940-е годы /
Г. Шелков — «Телеграф», 2017

ISBN 978-5-902845-25-6

В этой книге вы прочтете воспоминания простых людей о послевоенных сороковых годах – о голоде и холоде, болезнях, оголтелой преступности и крайней, невообразимой бедности. Высокая смертность, особенно детская, теснота, склоки, отчаяние и самоубийства... Это было невероятно трудное время. Вот о чем эта книга.

УДК 821.161.1-32 Шелков
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-902845-25-6

© Шелков Г., 2017
© Телеграф, 2017

Содержание

Предисловие	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Герман Шелков
1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как
трудно жилось в 1940-е годы

Эпизоды курения и употребления спиртного в тексте являются неотъемлемой частью описываемой в книге эпохи.

Все совпадения случайны.

Предисловие

В ясный полдень на пляже, в середине лета, я лежал на спине и наблюдал за редкими облаками. В двух шагах от меня какой-то человек, сидя на песке, что-то бормотал. Он читал газету. Ему что-то не нравилось. Наконец он сказал: «Н-да, времена нынче тяжелые. Небывало ужасные времена. Что дальше-то будет?» И вдруг я услышал другой голос: «Это сейчас-то времена тяжелые? Ну, насмешили. Вы не жили в послевоенные сороковые годы, а пожили бы, нынешнее время показалось бы вам сказочным. Поглядите кругом: как хорошо! Замечательно!» Я повернул голову и увидел старую женщину в летней шляпе. Она приглядывала за маленькой девочкой, играющей с куклой. Человек с газетой был по виду дачник, не старше шестидесяти, и он не мог помнить, как жили сразу после войны. Однако он пожелал ответить старой даме: «Что вы сравнили! То было послевоенное время. В те годы не могло быть хорошо». Старушка сказала: «А почему бы мне не сравнивать? Я никогда не жила так трудно и тяжело, как в сороковые. И моя мама, и брат, и сестры тоже страдали, и все родственники и знакомые. О, что это было за время! Сколько раз я думала, что завтра уже не проснусь! Все последующие десятилетия казались мне удивительно прекрасными. Что угодно, лишь бы не сороковые. Если бы вы пережили то, что пережила я, вы посчитали бы, что сейчас просто-таки праздник».

Дачник молчал. А я подумал: «Видно, бабуса знает, что говорит. Ей, наверное, лет восемьдесят, а то и больше». Я захотел спросить ее о сороковых годах, но она неожиданно засобиралась, взяла девочку за руку и ушла. Вздохнув, дачник отшвырнул газету и сказал, что со старыми людьми не поспоришь: они могут помнить такое, с чем ничто в нынешнее время не сравнится, поскольку жили в сороковые. «То время нельзя сравнивать, – произнес он. – Оно несравнимо».

Эти слова засели у меня в голове. Что это за время такое, которое «несравнимо»? Что видели и испытали люди, жившие в послевоенные сороковые годы? Не написать ли мне об этом книгу, чтобы запечатлеть их воспоминания?

Этим же вечером я вернулся в Москву. Постучался к соседке, 1931 года рождения, и попросил ее: «Расскажите что-нибудь про сороковые годы. Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь случай. Говорят, тогда жили очень трудно. Назовите, будьте добры, какую-нибудь характерную приметку или особенность того времени». Соседка сказала: «Ах, я многое не помню! Память стала совсем слабая. Могу сказать, что жили очень плохо. Так плохо, что с тех пор такого никогда не было, а только лучше».

В течение недели я расспросил еще пятерых свидетелей того времени, и все они сказали примерно то же, что и моя соседка. Они помнили эпоху в целом, но подробности вспоминать не хотели. Сороковые годы не желали раскрываться передо мной. Я пожалел, что не остался в Подмосковье и не расспросил старую даму в летней шляпе, которую видел на пляже и которая, очевидно, хорошо помнила послевоенное время. Я снова выехал из Москвы и отправился в то место на реке, где отдыхал неделю назад, но старушку в шляпе так и не встретил.

Я понял, что мне предстоит немало потрудиться, чтобы разыскать тех людей, чьи воспоминания о сороковых годах не уместятся в одной фразе, чья память по-прежнему сильна, и у кого найдется большое желание говорить о совсем не радостных событиях. Кто захочет вспоминать трагические случаи?

И все же мне удалось найти таких людей. На это мне понадобился один год.

Вот что рассказали эти удивительные и замечательные старики и старушки.

Герман Шелков

* * *

Мария Ту-нова, 1933 года рождения: «Мы жили в подвале, три семьи, в каждой семье по двое-трое детей. Взрослых мужчин не было, только женщины. Даже дедушек не было – многие старые люди умерли в войну, в эвакуации. Наш дедушка умер в 1943 году в Барнауле, где мы пережидали военное время. Помню, его звали Иван Степанович, папа моей мамы. У моей подруги, тоже 1933 года рождения, дедушку звали Николай Иванович, он умер годом раньше, в 1942 году и тоже в Барнауле. Мою подругу звали Надя, по возвращении из эвакуации мы жили на одной улице, но ее семье повезло больше, у них положение было лучше, потому что их поселили в полуподвале. Что это означает? К ним проникал дневной свет, и они видели ноги прохожих! Это было счастье.

Мы жили отчаянно плохо. Недоедали, прозябали. Помню, как мама однажды принесла откуда-то новенькую, нераспечатанную коробку дорогих папирос, высшего сорта, положила на стол, стала радоваться и говорить: «Завтра поедем! Купим хлеба и жиров!» Мы с братом и с младшей сестрой очень любили это чудесное слово – «жиры». Это было топленое свиное сало. Его добавляли в кашу, чтобы было сытнее. А каша без жиров – это ужас что такое. И вот мама откуда-то принесла красивую, элегантную коробку папирос и выменяла ее на еду, на хлеб и «топленку». Наши продуктовые карточки не могли накормить нас досыта, это была утопия, сказка. Поэтому мы грезили только о еде, как все недоедающие люди. Это была наша мечта – поесть досыта. О, какая это радость, когда ты не голоден! Но в 1947 году, о котором я сейчас рассказываю, сытость была редким для нас состоянием.

Наша соседка тетя Света от голода часто сваливалась в обмороке. Бывало, выходит из своей комнаты, идет в кухню, падает в коридоре и затихает, будто мертвая. Ее поднимали, отливали водой. У нее тоже было двое детей, и они тоже жили только на продуктовые карточки. Но как бы плохо ей не было, едой с ней никто не делился. Это было не принято. Все выживали самостоятельно. Помрешь – твое дело. Так было в сороковые годы, наверное, повсюду, и во время войны, и сразу после. Все сами по себе. Такое было время. Мама отдавала последний кусок нам, своим детям, наша славная, святая для нас мамочка – наша спасительница. К другим людям в то время она была почти равнодушна. Таков, я думаю, материнский инстинкт любой женщины, обремененной детьми.

И все-таки из троих детей нашей мамы выжила только я. Брат и сестра умерли от болезней, связанных с неполноценным питанием. Сестра Жанна умерла в том же 1947 году, брат Дима на следующий год.

1947 год был тоскливый, очень голодный и пустой. Именно пустой. Радостей почти не помню, зато горя и забот было предостаточно.

Я и брат Миша учились в школе, а младшая сестра все время оставалась дома, болела из-за малокровия. Однажды мы приходим с занятий, а ее нет. Мама сидит на стуле бледная, молчаливая, губы поджаты. Сестра Жанночка, как мы ее звали, умерла. И ее уже забрали санитары, увезли. Мы, дети, не плакали. И никто не плакал. Мама нас молча накормила обедом, подала нам суп и хлеб. Брат Дима тоже часто болел, особенно страдал от простуды, у него воспалялось горло, поднималась температура. Он умер от пневмонии 2 февраля 1948 года в шесть часов вечера, и я осталась у мамы одна. Папа пропал без вести на фронте, мы о нем ничего не знали до 1955 года, когда вдруг где-то нашли останки наших солдат, и среди них он, погибший при взрыве. Мама надеялась, что он находится в каком-нибудь военном госпитале, лежит в беспомощности после контузии, как иногда рассказывали про пропавших без вести – будто они живы, только ничего о себе не помнят. А папочка, оказывается, погиб еще в 1942 году.

В 1947 году было много бед. Год был очень тяжелый. Радости куда-то подевались. Радоваться было нечему. Вот в 1945 году люди радовались – война наконец закончилась, наступил

мир, все должно быть теперь по-другому. Люди часто улыбались. С фронта возвращались родственники, знакомые. Ехали солдаты, пели песни. Они могли подарить нам, детям и подросткам, целую плитку шоколада, кулек семечек или буханку хлеба. И дарили! Это был праздник!

В войну люди ждали победы, разгрома фашистов, ждали с фронта родных и своего возвращения из эвакуации в оставленные города, потому многие держались, не унывали, не впадали в отчаянье, хотя было очень трудно. Нам было во что верить. А когда началась мирная жизнь, стало совсем по-другому. Я была подростком, но хорошо запомнила ощущение той атмосферы, в которой мы жили по возвращении из эвакуации. Атмосфера установилась подавленная. Нередко попадались люди, сильно удрученные, в отчаянье, глубоко растерянные и как будто замышляющие самоубийство.

1947 год был словно проклятый. Предыдущий 1946 год тоже был невероятно трудный, особенно когда наступила осень. Мама ходила по городу в поисках второй, дополнительной работы, возвращалась усталая, унылая и говорила: «Ничего нету. Все ищут, не я одна. Даже полы мыть не берут, и даже на ночь».

Представьте женщину с тремя детьми, которая боится думать о будущем. Впереди, голод, холод и постоянный страх, и мать троих детей гонит от себя мысли о завтрашнем дне. Это очень нелегко. Ведь женщины так устроены, что они обязательно должны думать о том, что их ждет впереди. А если в перспективе ничего хорошего, мрак, лишения – каково тогда женщине?

Мама работала в конторе дорожного и автохозяйства. Весь день писала, составляла какие-то списки, вела какой-то учет, подшивала наряды, учетные справки. Кончики ее пальцев часто были вымазаны чернилами. В конторской комнате ее стол был напротив двери, в невыгодном месте, потому что в холодное время из двери очень дуло. Люди входили и выходили, дверь открывалась и закрывалась, и мамочку обдавало холодом. Она ежилась, сжимала зубы. В холодное время под одеждой у нее были газеты. Я видела, как, вернувшись с работы, мама вынимала из нижнего белья газеты и аккуратно их складывала, чтобы назавтра использовать снова, так она спасалась от холода и от простуды. Обворачивала газетами бедра, попу. И вот что удивительно: она почти не болела, хотя питалась хуже нас, детей.

До войны мама была другая. Война, лишения изменили ее характер до неузнаваемости. В 1940 году я пошла в школу, в первый класс, и мамочка торжественно, высоко держа голову, привела меня за руку на школьный двор. Это была жизнерадостная женщина, грациозная и стройная, с красивым полненьким лицом, с красивыми длинными ногами. Она носила то шляпку, то беретку, и еще я помню маленькую малиновую сумочку. Можно сказать, мамочка была модница. На нее любовались мужчины. Бывало, она вынет из сумочки маленькое зеркальце, поглядит в него, поправит челку, проведет пальчиком по бровям, потом позволит на одно мгновение поглядеть в это зеркальце и мне. И часто она улыбалась! Но вот началась война, нас эвакуировали в Барнаул, и я больше никогда не видела мамулю прежней. Ежедневные тяжелые заботы сделали ее совершенно другой женщиной. Зеркальце куда-то исчезло. Исчезли мамины улыбки, смех. Пропали шляпка, беретка и малиновая сумочка. Чтобы нас прокормить, мама работала по двенадцать-четырнадцать часов. Приходила домой полумертвая от усталости. Засыпала сидя, в верхней одежде, во сне падала. Мы с братом Димой ее раздевали, укладывали спать. Утром она не могла подняться с постели, вставала с трудом, разбитая от забот и нервного напряжения. В такие моменты она почти не разговаривала.

Во время войны зимой в доме, где мы жили, было холодно, кругом сквозняки, на стенах плесень. Дрова по талонам, керосин, или «горючка», как его называли, тоже выдавался только по норме. Нормы были занижены, поэтому приходилось отчаянно экономить. Дрова стоили дорого, как и «горючка», и особенно дорого стоила любая еда. Мама просыпалась раньше всех, шла умываться неприятной студеной водой, к которой у меня с тех пор ненависть, готовила нам завтрак, и с каждым утром становилась другой, а прежняя наша мамочка исчезала. И однажды исчезла навсегда. Я помню этот день. Это были мамины именины, 11 февраля, и именно в

этот день умер наш дедушка. Мама принесла откуда-то спирту, позвала в гости знакомую, пригласила ее за стол и сказала: «Давай выпьем за мои тридцать шесть лет! А когда папуля придет, выпьем еще с ним и за него, потому что он большой молодец, держится, никогда не жалуется, а ему очень-очень трудно, он старый, у него болезни!» И тут приходят какие-то люди и сообщают, что дедушку нашли на улице, возле ограды какого-то дома. Он умер просто, пожитейски: шел себе вдоль ограды, у него заболело сердце, он присел на кирпичное основание и скончался. Мама замолчала, наклонила голову, потом молча заплакала и стала смотреть на окно. Рот ее скривился. Но она не издала ни звука. Только позже она очень тяжело вздохнула и прошептала: «Ах, почему ты меня оставил? Вот как я теперь одна?» Дедушка тоже принесил домой деньги и продуктовые карточки, хотя он был пенсионер, ему было семьдесят три года, на работу его не звали. Он нашел место сам, самостоятельно. Занялся переписыванием бумаг в какой-то канцелярии. Он питался хуже нас всех, потому что меньше всех требовал, решительно отказывался от лишнего куска в пользу нас, детей. И никогда не жаловался. Его образ, образ мужественного человека, безропотно сносящего невероятные трудности, навсегда остался в моей памяти. Дедушка был щуплым, тонким от недоедания, страшно страдающим от холода, с болями в спине, в суставах, особенно в коленях, с сильно впавшими щеками. Но что за богатырская у него была воля! Он никогда не нервничал, не повышал голоса, старался как можно чаще улыбаться. Я думаю, он показывал нам пример стойкости. Он хотел, чтобы мы запомнили, каким должен быть истинный человек. И я до сих пор с той военной поры знаю: как бы тяжело ни было, нужно держаться, не падать духом.

После смерти дедушки мама надолго перестала улыбаться. Жить нам стало еще тяжелее, трудности наши удвоились. Теперь мамочка зарабатывала одна. Она даже перестала читать папины письма с фронта, хотя последнее мы получили уже давно, еще в 1942 году. А теперь был 1943 год. Мама перечитывала письма и вдруг бросила. Завела привычку тихо, негромким шепотом ругаться, обращаясь сама к себе. Вероятно, от этого ей становилось немного легче – таким способом, через сквернословие, она избавлялась от накопившейся злобы на жизнь, на судьбу. Но кто осудит женщину, работающую по четырнадцать часов, плохо питающуюся, живущую с тремя детьми в десятиметровой комнате?

В комнате у нас была только одна кровать, к счастью, широкая. Мы спали на ней втроем. Мама спала на большом сундуке, на тюфяке. Однажды вечером пришел какой-то милиционер, пришел вместе с мамой, и она сказала: «Вот он, сундук. Продаю. Берите его, не прогадаете. Поглядите, какой ладный, какой молодец! Ну, берете?» Милиционер сказал: «Хороший сундук, беру». И купил его, и увез. А эта вещь принадлежала не нам, а хозяйке комнаты. Что тут было, когда она узнала о пропаже! Она закричала: «Ах ты, дрянь такая! Где сундук, кому продала? А ну, пойдем в милицию! Давай адрес покупателя! Верни ему деньги! И выметайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было – ни тебя, ни твоих детей!» А мама спокойно ответила: «Еще чего! Катись-ка ты восвояси. Я тебе деньги за сундук потом верну, когда накоплю. Или новый сундук куплю. А эти деньги я уже потратила – мне детей кормить нужно. А если ты чего не поняла, пойдем на улицу, я тебе подробнее объясню – вот этим утюгом по твоей деревянной башке, добродетельная ты моя!» И мама вскочила и схватила со стола чугунный утюг. Хозяйка испугалась и выбежала. И почему-то не стала нас преследовать. Может быть, испугалась. А может быть, вошла в наше бедственное положение.

Этот поступок нашей мамы перевернул наше представление о ней. Она стала другой. Изменилась невероятно. До войны мамочка была интеллигентная женщина, а в войну интеллигентность уступила место решительности. Я не говорю о том, что по натуре наша мама стала хуже, испортилась. Нет. Она не сделалась склочницей, истеричкой или грубиянкой, она лишь распрощалась, как мне кажется, со всем романтическим, что есть в жизни. Она поставила себе цель – уберечь своих детей, и поэтому отбросила все, что мешало ей в достижении этой цели: слабость, неуверенность, пустые мечты и надежды, бессмысленные фантазии, наивные заблуж-

дения. Разговаривала она теперь с людьми просто и ясно, без церемоний, иногда резко, иногда дерзко. Позже я поняла, что это был единственный способ не показаться слабой, простодушной и неумелой, чтобы не навлечь на себя беду, неприятности. Чтобы не пропасть. Ведь слабые и простодушные в войну быстро пропадали. А в эвакуации жилось чрезвычайно трудно, не легче, чем на фронте. На войне человека поджидала смерть, но и в тылу тоже – от недоедания, переутомления, нервозности, помешательства. Народу из числа приезжих, эвакуированных, умирало немало. Чаще, конечно, умирали старики, дети и нервные, неприспособленные к трудностям дамы.

Помню один трагический случай, произошедший в нашем доме. Рядом с нашей комнатой через коридор находилась другая комната, и там проживала некая тетя Валя С., эвакуированная из Ленинграда, и с ней ее мама. Чуть ли не каждую неделю в городе появлялись новые калеки с фронта, кто без ноги, кто без руки, кто вообще безногий или безрукий. Калек было немало. И не только мужчины! В нашем доме появилась фронтовая медсестра с палкой вместо ноги и без левой кисти. И еще без одного глаза. Деваться ей было некуда, но власти ее не бросили, а стали пристраивать. Ходили по домам, смотрели, можно ли куда-нибудь подселить несчастную женщину. И вот пришли в наш дом, поглядели везде, заглянули к соседям и нашли, что две дамы в одной комнате – это роскошь. И приказом военного коменданта определили фронтовую медсестру на жилплощадь к тете Вале С. и ее маме.

Принесли кровать, матрац, одеяло и подушку, тумбочку, чайник, кастрюлю, жестяную тарелку и кружку и сказали: «Живите здесь, товарищ сержант, а когда откроется дом инвалидов, мы вас туда переселим». Медсестра села на свою кровать, закурила и сказала: «Ну что, дамочки? Чаем не угостите? А я вас спиртом угощу». Выпив кипятку, а потом спирту, она стала дымить папирсой и рассказывать о войне. До войны это была простая женщина из рабочего поселка, нормировщица с завода, а в 1941 году ее послали на курсы медсестер, а оттуда сразу на фронт. И она полтора года отважно воевала. Вытаскивала из-под огня раненых бойцов, ползала под пулями в грязи и в снегу, оглушаясь взрывами гранат и снарядов. Стойкая, героическая женщина. Но однажды рядом с ней разорвался снаряд и лишил ее ноги, кисти и глаза. Настал ее последний день на войне. Героическую медсестру отправили во фронтовой госпиталь, а потом в тыл. И вот она очутилась в нашем доме, стала нашей соседкой. Работать она не могла, из дома выходила ненадолго, целыми днями сидела на кровати, курила и рассказывала о войне. Она делала то же, что делали все другие калеки, очевидцы фронтовых событий: без конца говорила о том, что пережила. Спустя всего несколько дней тетя Валя стала очень нервничать. Ходила бледная, кусала губы, трясла подбородком и бормотала: «Я больше так не могу, не могу!» Но ничего не объясняла. Зато объясняла ее мама, когда готовила в общей кухне: «Ах, как тяжело стало жить, просто невыносимо. Эта фронтовичка все время курит, пьет кипяток, грызет сухари и рассказывает об ужасах на фронте. Одно и то же! Вся комната в дыму – хоть в окно лезь, и без конца эти рассказы о том, кто как погиб, а кто заслужил медаль, а кому пулей ухо оторвало, и как ротный командир чуть не пристрелил струсившего старшину, а когда повел роту в атаку, его убил вражеский снайпер, пуля попала в сердце, и он лежал на снегу молодой, красивый и задумчивый. И прочее, и прочее. А потом снова кипяток, сухари, папирсы, и опять все сначала – о ротном командире, струсившем старшине, гибели, медалях, оторванном ухе и всем остальном. Что нам делать? наших просьб эта дама не слышит! Простых слов не понимает! Куда нам деваться?»

У тети Вали не было детей, и наша мама ей сказала: «Подумаешь, рассказы о войне! Терпите! У вас ведь детей нет, забот вы тяжелых пока не знаете. Печетесь только о себе. Это еще ничего! Медсестру тоже можно понять. Конечно, можно. Она на фронте всякие ужасы повидала, натерпелась, калеккой осталась, что ей за жизнь теперь? Вот однажды война закончится, вернетесь домой, в Ленинград, и будете вспоминать эту фронтовичку как нашу общую спасительницу. Вот поэтому и не скрипите зубами, остыньте. Все терпят, и вам надо держаться.

Выше голову! Возьмите и сварите медсестре суп из перловки, наваристый, с салом. Окружите ее заботой, помогите ей, ведь вы же не инвалиды, у вас пока все хорошо...»

Тетя Валя С. не вняла этим словам нашей мамочки и продолжала волноваться и бледнеть. И однажды так разволновалась, что выбежала из дома и пошла куда глаза глядят. Стояла зима, морозы. Тетя Валя шла по дороге пешком, пока не очутилась за городом, в роще. Там она заблудилась, забегала, устала, села под деревом и замерзла насмерть. Ее убил психоз. Но смерть этой женщины впечатлила только ее собственную мать, что, конечно, естественно. А нашей маме было все равно. Она даже ничего не сказала, только пожала плечами. Героическая медсестра тоже, казалось, ничего не поняла: войны нет, снаряды не рвутся, отчего же ударяться в панику и умирать? Медсестра как будто и не заметила, что одной жиличкой в нашей квартире стало меньше.

Она продолжала дымить табаком, грызть сухари и рассказывать о войне. Через два месяца за ней приехала ее родственница и увезла куда-то на Дальний Восток.

Когда мы вернулись из эвакуации, мама была уже совсем другим человеком, нежели до войны. Нельзя сказать, что она стала чересчур строгой или замкнутой, или превратилась в скупердяйку и стяжательницу из-за постоянной нужды. Нет. Прежде у нее были кокетство и слабости, красивые мечты и фантазии модницы, непрактичность, капризы и расточительность, свойственные хорошенькой женщине, а теперь все это исчезло. Мама сделалась быстро соображающей, расчетливой и хладнокровной. Она узнала в жизни много горечи. Пережила смерть своих детей, самые страшные в ее жизни события. Она берегла сестру Жанночку и брата Диму, и все-таки они умерли от болезней.

Люди умирали после войны чаще всего из-за плохого питания. Скверное питание вызывало болезни крови, туберкулез, инфекции, бесконечные простуды, пневмонии. Была высокая детская смертность. Сужу по нашей семье и по тем семьям, которых знала лично, а также по рассказам знакомых. Когда я стала взрослой, я поняла, что ничего удивительного в этих смертях нет. Однообразная пища, в основном хлеб и крупа, без мяса и полноценных жиров, без молока, яиц забирала детские жизни. Мой брат Дима страдал простудами, судорогами, сонливостью именно из-за нехватки витаминов и прочих питательных веществ. Мама кормила нас перловой кашей с топленым свиным салом и говорила Диме: «Ешь, и станешь богатырем! Все богатыри ели кашу». Он ел и слабел, мучился простудами, кашлял, хрипел во сне, а иногда у него так сводило ноги, что он кричал, как ужаленный. Мама показывала его врачу, и тот выписывал какую-то микстуру, которую потом в аптеке наливали в наши бутылки и банки, потому что казенная посуда отсутствовала. Еще он говорил, этот врач, что детям следует давать молоко. Но откуда бы взялось молоко? В продаже молока не было, его отпускали только по талонам на усиленное питание, а эти талоны выдавали лишь людям с дистрофией и далеко не всем подряд. А у Димы не находили дистрофию, в его карточке писали: «Простуда, кашель, бронхит, воспаление легких». Теперь я понимаю, что если бы мои братик и сестренка пили по утрам молоко, ели хлеб со сливочным маслом, и хотя бы один раз в неделю на нашем столе были мясо и яйца, они бы не погибли. Но мясо, молоко, яйца и сливочное масло продавались только на базаре у частных лиц. На базар мама ходила, наверное, не чаще двух раз в месяц, когда выдавали аванс и зарплату. Потому что рыночные цены на продукты питания и мамочкина зарплата были несовместимыми понятиями. Иногда мама покупала на рынке два куриных яйца, варила их, мелко нарезала и добавляла в кашу. Но как часто мы ели яйца? Один раз в два месяца. Один раз в неделю ели селедку. Мяса не видели вообще, только сало. Мама покупала у торговцев за большие, немилосердные деньги соленое сало, чудесное на вкус, на вид розово-голубое, не топленое, нарезала ломтиками и делала маленькие бутерброды. Это было прелесть что такое! Мы улыбались от счастья, жмурились и урчали. С той послевоенной поры свежее розово-голубое свиное сало вызывает у меня почти ощущение культа, глубочайшее уважение.

Сало спасло мне жизнь. Господь послал нам в помощь этот грандиозный продукт в самое тяжелое для нас время, и мы остались живы – не все, но выжили...

После смерти брата и сестры мама замкнулась. Ходила подавленная, словно пережила контузию. Часто брала в руки их вещи – одежду, ботиночки, ложки, еще что-то, прижимала к груди, к щеке и заходила в сильном волнении. Еще бы: потерять детей восьми и одиннадцати лет! Слез у нее не было, зато тряслись голова, тело, руки. Потом мамочка отходила, садилась на кровать или на стул, подолгу молчала, ни с кем не разговаривала. Наша соседка тетя Нина, умудренная жизнью женщина, тоже пережившая смерть малолетних детей, только раньше, в 1932 году, научила маму: «Они сейчас в раю. Им хорошо. Ведь они безгрешны! Они бегают там по зеленой, сочной траве, играют, смеются, наблюдают за тобой с небес и шепчут: «Будь спокойна, мамочка, с нами все хорошо! Однажды мы с тобой увидимся и уже никогда не расстанемся. И будет у нас жизнь вечная и прелестная!» И мою маму эти речи понимали, делали здоровее, спокойнее. Эти речи происходили из нашей великой христианской религии, а монотонные, упругие, металлические голоса, доносящиеся из радиоточки, официальные голоса нашего правительства, могли только убить, угробить, свести с ума. Эти свинцовые бормотания дикторов радио послевоенных сороковых годов казались дьявольщиной. Кто их придумал – такие бездушные? Помню морозное, унылое, тоскливое мартовское утро 1948 года. Мы сидим за столом – мама, соседка тетя Нина и я, поминаем моего братика Диму, умершего от пневмонии 2 февраля. Дима умер сорок дней назад, вечером, но мы собрались за столом утром. Передо мной кружка чая. Мама и тетя Нина пьют спирт. Они молчат. Им, женщинам и матерям, невероятно тяжело думать об умерших детях. И вдруг доносится металлический голос диктора: «В текущем году в стране увеличится выпуск товаров широкого потребления. Фабрики Министерства легкой промышленности с начала года увеличили производство тканей...» И мама вдруг усмехнулась и сказала: «У этого диктора такой голос, словно он сам не верит в то, что говорит». Затем мама вспомнила, что когда она заказывала гроб для Димы, гробовщик вздохнул и сказал: «Эх, настанут ли еще такие времена, когда гробы снова будут обивать тканью? Когда-то мы предлагали заказчикам шелк и бархат. А теперь даже усопшего накрыть нечем – не найдешь куска самой обычной материи!» Гробовщик жаловался на товарный голод. В сороковые годы это была эпидемия – отсутствие товаров. Ни одежды, обуви, ни мебели, ни предметов обихода в продаже вы не нашли бы, по крайней мере, в таких небольших городах, как наш. В нашем городе, казалось, магазины ничем не торговали, кроме чепухи. На полках стояли какие-то шкатулки, которых и до войны было много, рамки для фотографий, керосиновые фонари и еще что-то. Хочешь что-то купить из одежды, обуви или приличной еды – иди на базар. Только там, на рынке, и существовала торговля, но за каждую вещь просили большие деньги или драгоценные продукты – яйца, сливочное масло, сало, сахар. Можно было также расплатиться мылом. О мыле мечтали все. о нем вздыхали. Нам в школе говорили, что мыло – основа гигиены, а его в войну и сразу после войны нельзя было купить. Его доставали, выменивали. За мыло могли зарезать на улице, поскольку оно имело такую же ценность, что и деньги. Мамочкины пудреницы, малиновая сумочка, беретка и еще много чего ценного были выменяны в свое время всего на два небольших куска мыла.

В 1945—46 годах мама носила только вещи, приобретенные до войны. То есть каждому предмету было около восьми лет. Легко вообразить, насколько поношенная это была одежда. Остальное из своего довоенного гардероба мама продала в эвакуации, чтобы прокормить нас. Теперь продавать было нечего. Но на рынке мамочка ничего не могла для себя купить – ей это было не по карману. Она покупала только для нас. Правда, после одной-двух покупок на базаре мы еще ту же затягивали пояса. И все-таки у мамы появлялись вещи, я это хорошо помню. Ее выручали кустари. Это были люди, которые предлагали товары, сделанные ручным способом в каких-то закрытых артелях и мастерами-надомниками. Они изготавливали обувь из автомобильной резины, перчатки, шапки и кепки из кожаной обивки дверей и диванов, платья,

пиджаки, брюки и даже макинтоши и пальто из той же обивки, из портьер, штор, скатертей. Детям, может быть, и не приходило в голову, где кустари добывали материал, чтобы изготавливать такой необходимый для всех нас ширпотреб, но взрослые, конечно, понимали, откуда что берется. Все эти шторы, скатерти, обивки кресел и диванов в большинстве случаев были ворованные. Воры сбывали кустарям все, что им удавалось украсть, а воровство в сороковые годы было такой же эпидемией, как товарный голод.

Кустари обычно приходили по вечерам, когда все взрослые были дома, вежливо здоровались, показывали товар. Торговаться с ними было бесполезно – сколько помню, они всегда держались твердой цены, скидки не делали ни калекам, ни многодетным матерям. Такого понятия, как жалость не существовало. И все это хорошо понимали. В сороковые годы никто никого не жалел, сострадание было диковиной. Кустари хоть и казались приветливыми, но люди были жесткие, решительные, готовые дать отпор любой агрессии. Если с товарами приходили женщины, за их спиной непременно стоял бугай – «рожа как тыква, на лбу чуб, на губе папираса». У этих женщин частенько бывали дамские и детские вещи – сшитые из занавесок платья, пиджаки из старой, но еще вполне годной плюшевой портьеры или скатерти, обувь из какого-то «военного» материала. Мамочка сохранила детские ботиночки нашей покойной сестры Жанночки, купленные у кустарей, и однажды к нам – это были уже шестидесятые годы – пришел ремонтник, увидел их в серванте за стеклом и говорит: «Да это же футляр из-под бинокля!»

Помню, как в конце 1946 года наш город наводнили кустарные домашние тапочки, сшитые из какого-то материала, похожего на войлок. Сшиты они были кое-как, грубо, но поскольку стоили недорого, их покупали. Через год в городе появились такие же кустарные кофты, не шерстяные, не полушерстяные, а неизвестно из чего. Торговцы тапочками ходили по домам с доверху набитыми вещевыми мешками за плечами, потом с такими же мешками ходили продавцы кофт. Они произносили заманчивое, уютное слово «трикотаж». «Хозяйка, купите хороший трикотаж! – говорили они, развязывая мешки. – Купите сейчас, а то потом не будет!» Все торговцы упирали на то, что нам повезло – мы будто бы поймали счастливый момент. Мама купила и тапочки, и кофту. Кофта выглядела не нарядно и не украшала, но все-таки это был предмет одежды. Без одежды ведь совсем плохо.

В сороковые годы было много кустарных вещей. Мамочка носила пальто на вате, сшитое из диванной обивки темно-коричневого цвета. Вату для пальто добыли явно из того же дивана. Но мама была довольна, потому что настоящее пальто, фабричного производства, она купить не могла. В свободную продажу такие вещи в нашем городе не поступали, а спекулянты просили за одежду, сшитую на фабрике, слишком дорого. И хотя на рынке всегда можно было купить поношенную одежду – пальто, юбки, кофты и блузы, пиджаки и платья, она тоже стоила недешево. Это были ворованные вещи, привезенные из других городов. Бандиты нападали на дома, на прохожих, грабили их, сбывали добычу перекупщикам, а те увозили товар в другой город и сбывали на базаре.

Особенно плохо обстояло дело с дамским нижним бельем. О, это была всенародная беда! Мама надевала вниз, под одежду, белье, перешитое из солдатских кальсон. Когда мы ходили в городскую баню, я видела такое же белье из кальсон у многих женщин. Клапан, что был спереди на кальсонах, плотно и намертво зашивали, и чем аккуратнее это делалось, тем изящнее такое белье смотрелось. Фабричное же белье вызывало немалую зависть. Его берегли, за ним тщательно присматривали, поскольку в любую минуту его могли украсть. Впрочем, крали любую одежду – ведь ее всегда можно было выгодно сбить, и притом очень быстро, уже через десять минут после кражи.

Сразу после войны трудно было раздобыть зубной пасты, зубных щеток. Зубной порошок, мятный, хорошо пахнущий, и зубные щетки привозили из крупных городов, из столиц республик, и, конечно, из Москвы. Люди, никогда не бывавшие в Москве, с открытым ртом

слушали тех, кто посещал нашу главную столицу, и всегда расспрашивали, как выглядят столичные магазины, правда ли, что в московских универмагах можно купить одежду, обувь, нижнее белье, мыло, духи, пудру, принадлежности для бритья и стрижки, зубные щетки, коробочку зубного порошка. Москва была наглухо закрытым городом. В Москву пускали только по пропускам. Моя мама тоже спрашивала. Она, как и все другие женщины страны, завидовала столичным жительницам. Позже, через несколько лет, выяснилось, что многие рассказчики попросту выдумывали, сочиняли небылицы о снабжении Москвы, говорили, что оно высшей категории, «снабжение класса «экстра». Никто не знал, что это за снабжение такое – «экстра», существует ли оно на самом деле, и верили. Воображали себе богатые магазины, нарядные светящиеся витрины, улыбки и смех столичных дам, которых мужья и кавалеры приглашают посетить театр, кафе и прокатиться на таксомоторе. Слово «таксомотор» действовало на нас, живущих в ужасной нищете, волнуяще и ободряюще. Всюду ходила такая фраза: «Быстро, как на столичном таксомоторе». Вероятно, это слово внушало нам надежду на восстановление нормальной жизни, на благополучие. А может быть, нам просто хотелось во что-то верить, ведь все давно уже устали страдать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.